

## КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

### Еще о «русской душѣ»

«Я похожъ на младенца въ утробѣ матери, но которому во-все не хочется родиться»\*). — Родилась ли вообще Россия, или такъ и пронѣжилась тысчку лѣтъ въ материнскомъ лонѣ, такъ и не вышла до революціи изъ предраз-свѣтнаго, утробнаго бытія? Развѣ и впрямь не дремала она, содрогаясь, вскрикивая и бормоча, но не открывая глазъ — до страшнаго пробужденія, и то лучшее, что родилось и взошло изъ ея просторахъ, не приснилось ли ей оно и не забудеть ли она его такъ же неизбѣжно, какъ всѣ мы забываемъ среди дневныхъ дѣлъ ночные сны? Черты первобытности, «от-сталиссія», которыхъ такъ стыдились, которыми такъ попрекали ее іѣ, кто вѣчно боялся «отслѣдить отъ вѣха», хотя самыі эти страхи были имъ внушеніемъ представлени-емъ о культурѣ, состарившимся еще въ XVIII-омъ столѣтии, эти черты — какъ бы мы ни оцѣнивали ихъ — были несомнѣнно ей присущи. Россия, несмотря на Петра и продолжателей петрова дѣла, все еще была широко раскинутой деревенскою страной, жившей въ значительной мѣрѣ старой патрі-

архальной жизнью. Объ ея куль-туры, крестьянская и барская, про-должали быть едва ли не одинаково далеки отъ городской, научно-технической, стандартно-утили-тарной цивилизациіи, которая уже начала вытеснять на Западѣ его духовную жизнь, его настоящую культуру. На эту цивилизацию не только славянофилы, но и нази-мѣнье поверхностные изъ западин-ковъ, какъ Герценъ, взирали не безъ отвращенія и угдывали въ ней знаменія конца. Начало было въ Россіи, будущее принадлежало ей; ея младенчество, ея истро-буждѣнность были залогомъ ея будущаго величія.

Такъ смотрѣли на Россію всѣ іѣ, кто не отчаялся въ ней. Гер-ценъ напрасно считалъ, что лишь у него и въ его лагерѣ надежда и любовь питаются пророчествомъ, а въ лагерь Аксаковыхъ однѣмъ воспоминаніемъ; на самомъ дѣлѣ и воспоминанье, т. е. все славяно-фильское превознесеніе древней Руси, только и имѣло тѣть смыслъ, что давало материалъ и поводъ для пророчества. Тютчевъ только въ будущее Россіи и вѣрилъ, больше того: только это будущее и любилъ; настоящему онъ отвѣ-чалъ равнодушіемъ или раздра-женіемъ. Пушкинъ осудилъ Ради-щева, а тѣмъ самымъ и его ду-ховное потомство, за «невѣжест-

\* ) Этими словами Розанова за-канчиваются «Мысли о „русской душѣ“», напечатанные въ № 64 «Современныхъ Записокъ».

венное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своимъ вѣкомъ, слѣпое пристрастіе къ новизнѣ, но онъ же въ 1822 году писалъ: «Только революціонная голова, подобная (...) Пасторлю, можетъ любить Россію — такъ, какъ писатель только можетъ любить ея языкъ. Все должно творить въ этой Россіи и на этомъ русскомъ языкѣ». Это значитъ, что Россію можно любить только, какъ матеріаль для русского будущаго, какъ страну неготовую, недостроенную, гдѣ tout est à créer, гдѣ «все должно творить» и въ области государственной жизни, и въ области литературы, — мнѣніе, отъ котораго Пушкинъ не отрекся бы и четырнадцать лѣтъ спустя, когда писалъ статью о Радищевѣ, хотя въ революціи онъ къ тому времени и разочаровался. Въ какомъ вкусѣ следовало строить зданіе, инѣйка обѣ этомъ столкнулся и мнѣнился, но никто не сомнѣвался въ томъ, что предыдущіе вѣка самое большое заложили его фундаментъ и что настоящая постройка должна начаться съ часу на чась. Тамъ, гдѣ культурныхъ формъ не только не превратились въ формулы, но еще и не вполнѣ сложились, тамъ надежды сильныи воспоминаній и будущее дороже прошлаго. Не только въ пушкинское время казалось, что все у Россіи впереди; это могло казаться и въ наше время, потому что и девятнадцатый вѣкъ Россію не довершилъ, оставилъ въ ней многое нераскрытымъ, непроявившимся, будущимъ, возможнымъ. Мы еще знали ее недодѣланной, неотвердѣвшей, готовой во многомъ принять тотъ образъ, что нашему и дальнѣйшимъ поколѣніямъ казалось суж-

дено было въ ней запечатлѣть. То, что ей многого не хватало, было призывомъ къ творчеству, обязывало дать смыслъ нашей жизни и примѣненіе нашему труду.

Неоформленность русской культуры не есть, однако, простая примитивность, и слишкомъ много вѣковъ отдѣляетъ насъ отъ крещенія Руси, чтобы можно было эту неоформленность сводить къ младенчеству. Первобытность Россіи — не просто «стадія развитія», давно пройденная Западомъ, но удержанная русскимъ крестьянствомъ, а потому окрасившая въ наивѣтной мѣрѣ и культурную жизнь городовъ или образованнаго меньшинства. Въ ней есть что-то отвѣчающее глубокой и обще - национальной потребности, которая съ особенной силой проявлялась въ прошломъ вѣкѣ, въ нашемъ лучшемъ вѣкѣ. Есть особое свойство русской души, не мирящееся какъ будто ни съ какой иной культурой, кроме той, что обладаетъ чертами «недоразвитости», первобытности. При со-прикосновеніи не со всѣмъ, но кое съ чѣмъ изъ того, что считается задачами культуры, подымается въ этой душѣ чувство, которое можно назвать формобоязнью. Чувство это сказалось во многихъ областяхъ русской жизни и творчества въ минувшемъ вѣкѣ; оно отразилось на судьбѣ самого русского языка. Если взять даже литературный русский языкъ и сравнить его съ западно-европейскими литературными языками, легко замѣтить, что многое въ немъ какъ бы не установлено, не выработано, не принято незыблѣмыхъ и четкихъ формъ. Дѣло тутъ не только въ несочинѣнной архаичности его грамматической структуры, родившей его съ язы-

ками классической древности и огъ которой зависятъ такія его черты, какъ преобладаніе видовъ надъ временами въ системѣ глагола и наимъ сохраненіе флексій, позволяющее свободно разставлять слова въ предложенияхъ, но и въ такихъ его особенностяхъ, что не столько проискашь изъ этой архаичности, сколько ее объясняютъ, такъ какъ восходятъ къ нѣкоторымъ постояннымъ (хотя большей частью и безсознательнымъ) стремленіямъ говорящихъ или пишущихъ на немъ людей. Самый фактъ сохранности флексій и видовъ глагола, или такихъ оборотовъ, какъ «мы съ тобой» (вмѣсто «я съ тобой») указываетъ на общую слабость логическихъ и аналитическихъ потребностей, которой отвѣчаетъ тяготѣніе къ выразительной или поэтической функции языка, въ ущербъ его функции разсудочной и практической. Синекиды у насъ разграничиваются чаще по эмоциональной окраскѣ, чѣмъ по точному смыслу, синтаксисъ неокогдѣ подчиняется дисциплинѣ разума и даже правила грамматики скорѣй, чѣмъ въ другихъ языкахъ, уступаютъ напору изволившаго чувства. Нашъ литературный языкъ свободаѣ вѣхъ западныхъ въ отношеніи словоупотреблений, строеній фразы, примѣненій грамматическихъ формъ и даже произношенія отдельныхъ словъ. Этой свободы онъ хотѣлъ, она не просто была ему дана; кажется нѣтъ другого языка, который такъ бы упорно отвергалъ всякую черезчуръ узкую, разсудочную, разъ навсегда установленную форму.

Языкъ поэзіи у насъ зрѣлъ и разработанѣй, чѣмъ языкъ прозы, и этого нельзѧ объяснить

одной лишь естественной послѣдовательностью исторического развития. Пушкинъ жаловался въ 1824 году на то, что «метафизического языка» (т. е. отвлеченной прозы) «у насъ вовсе не существуетъ», и, несмотря на всѣ его успѣхи, намъ и сейчасъ его не хватаетъ болѣе иного. Недаромъ въ русской литературѣ повѣствованіе, сказъ и живая рѣча первенствуютъ надъ всѣми другими видами прозаического стиля; недаромъ самыи оригиналныи и глубокии изъ русскихъ мыслителей, Достоевскій, былъ художникомъ, какъ Платонъ, а не ученымъ, какъ Декартъ или Кантъ, и мыслилъ не отвлеченными понятиями, а приближаясь къ образамъ и мирамъ; недаромъ лучшая книга Соловьевъ написана въ формѣ діалога, а лучшая книга Розанова въ формѣ отрывковъ и притомъ исключительно интимными разговорными языками. Средний уровень философской и научной прозы у насъ и понынѣ весьма низокъ, а у величайшихъ нашихъ писателей небрежность языка странными образами уживается со стилистической гениальностью. Такъ, въ «Подросткѣ» читаемъ: «больѣе высшую мысль» «знакомой рукой» (вмѣсто «привычной»), «чѣмъ же она формулировала» (вмѣсто «аргументировала»); а въ «Анне Карениной»: «гораздо послѣ» (вмѣсто «позже»), «О, прелестъ моя! думая оѣ на Фру-Фру» и даже: «спрынувъ того душевнаго разстройства, которое на него всегда производили слезы». Писатель у насъ какъ бы отказывается отъ пристальности въ отношеніи слова, по настоящему всматривается въ него лишь когда оно наполняется до краевъ чувствомъ и ritmomъ, когда языкъ прозы превраща-

щается въ языкъ стиха. Относительная безыскусственность русского прозаического стиля (выражающаяся также въ относительной неразработанности его ритмическихъ возможностей) какъ бы возводитъ въ художественный принципъ общую нефиксированность, шаткость и свободу языка. Въ нѣкоторыхъ отношенияхъ это недостатокъ, въ другихъ—огромное преимущество. Знаменитый языковѣдь Антуан Мейе не безъ основанія считалъ, что русская литература минувшаго вѣка въ значительной мѣрѣ черпала свою силу изъ необыкновенной свѣжести и жизненности языкового материала, который находился въ ея распоряженій. Слишкомъ большая пристальность могла бы эту жизнь умертвить; русская литература предпочла жизнь формѣ.

Поззія Пушкина есть чудо живой формы, безыскусственного искусства, но такое чудо повториться не могло. Трагедія культуры заключается въ томъ, что жизнь и форма не могутъ быть приведены въ постоянное, устойчивое соптѣтствіе. Послѣ пушкинского чуда всякая другая поззія отвердѣла бы, изсохла; русская разрыхлилась, разными способами расшатала форму — не пушкинскую, а форму вообще. То-же случилось съ русскимъ романомъ послѣ «Героя нашего времени», съ русской музыкой послѣ Глинки; что же касается другихъ русскихъ искусствъ, то они тяготѣли къ безформенности и въ XVIII-омъ, и въ XIX-емъ, и продолжаютъ къ ней тяготѣть въ XX-омъ вѣкѣ. Во Франції классический стиль Имперіи жестко торжественъ и насквозь сухъ, но русский усадебный «ампіль» — самая мягкая, самая неархитектурная архитектура

въ мірѣ. Первое, что бросается въ глаза въ портретахъ Шубина и Левицкаго сравнительно съ ихъ французскими образцами, это опять-таки нѣкоторая мягкость и рыхлость формъ, очень подходящая впрочемъ къ характеру тѣхъ русскихъ лицъ, что они изображаютъ на холстѣ и въ мраморѣ. Приблизительно въ томъ же духѣ недооформленъ Венеціановъ, и въ совсѣмъ другомъ, но еще менѣе оформленъ Суриковъ. Крушение передвижниковъ объясняется не отсутствиемъ таланта, а тѣмъ, что они стыдятся живописи и заботятся о чёмъ угодно, кроме нея. Затаенная боязнь формы приводитъ къ причѣнкѣ готовыхъ формъ, какихъ попадо, въ надеждѣ, что вывезетъ «кнутро». Музыкальная грамматика Запада отталкиваетъ русскихъ музыкантовъ и гений Мусоргскаго обходится безъ нея, но другие, поскольку усваиваютъ ее, все же не хотятъ въ нее вживаться и потому не умѣютъ гдѣ цѣнно ея сломать. Некрасовъ такъ шарахается отъ всякой формы, что нѣтъ, нѣтъ да и напалилъ на себя такія ея побрякушки, отъ которыхъ непремѣнно отказался бы самый заправскій формалистъ. Но все это не просто дефектъ; это лишь обратная сторона величія русской литературы и русского девятнадцатаго вѣка. Формобоязнь такъ же неразрывно связана со всѣмъ лучшимъ, что у насъ есть, какъ циническое отрицаніе искусства у Толстого съ толстовскими художественными геніями.

Та непосредственность, что такъ поражаетъ иностранцевъ въ русской актерской игрѣ, русскомъ танцѣ, пѣніи, русскомъ романѣ, что заставляетъ ихъ въ недоумѣніи спрашививать себя, гдѣ же кон-

чается русская жизнь tout court и где начинается искусство Толстого или Чехова, эта непосредственность, прямота, простота есть лишь следствие того недоверия к формѣ, той боязни, что она сошлеть, которыми одержимы русский чѣловѣкъ и ради которыхъ онъ способенъ отречься отъ любой культуры. Чувство это приводить къ злѣйшей расхлябанности слова, какъ въ стихахъ Полонского или Случевскаго, къ слабости композиціонныхъ, т. е. разсудочно-волевыхъ элементовъ въ живописи и архитектурѣ, въ музыке и романѣ, къ недостаточной дифференцированности эстетическихъ ощущений, что сказывается, напр., въ отсутствіи послѣдней колористической зоркости у живописцевъ или въ ритмѣ прозы, то не вполнѣ проявленномъ (какъ у большинства), то черезчуръ подчеркнутомъ (какъ въ лирическихъ періодахъ Гоголя или у Андрея Бѣлаго). За предѣлами искусства тотъ же инстинктъ ведетъ къ отрицанію іерархического принципа, признаніе котораго сущинуютъ у насъ съ чинопочитаніемъ, и къ непремѣнному позстанію не столько противъ власти какъ таковой, сколько противъ власти облеченней интеллектуальнымъ или моральнымъ авторитетомъ. Іерархія и авторитетъ — духовные формы, которыхъ русскій чѣловѣкъ отказывается свободно признавать, предпочитая, чтобы ихъ грубая материализация была навязана ему силой. Точно такъ же отказывается съ тѣмъ разстояніемъ, что отдѣляетъ всякаго чѣловѣка отъ всякаго другого чѣловѣка; отсюда фамильярность — отъ любзаній до рукоприкладства — въ отношеніи высшаго къ низшему, смѣясь неуваженіемъ съ подобострастьемъ

въ отношеніи низшихъ къ вышшему, въ между равными распространеннѣйшій изъ русскихъ видовъ пошлости: пакибратство. На иныхъ путяхъ та же боязнь формы ведетъ къ безчеловѣчной жестокости или къ ненужной притязательности формъ тамъ, где обойтись безъ нихъ представляется невозможнымъ; къ табели о рангахъ и «кніuto-германской имперіи» или къ педантически-возыщенному и несущественно-гравіозному замыслу «Мертвыхъ Душъ» или ивановскаго «Явленія Христа народу». Доведенная до предѣла формобоязнь легко переходить въ рѣшительное формоисключеніе; Кутузовъ и Сперанскій, Бакунинъ и Пестель однаково русскіе умы, и несносная накрахмаленность брюсовскихъ стиховъ — только реакція противъ души и распашку его предшественниковъ.

И все-таки, за всѣмъ этимъ скрывается то самое, что составляетъ наибольшее своеобразіе и величайшее сокровище русской культуры: ея все еще расплавленное, не застывшее, какъ у другихъ народовъ, религіозное, христіанско ядро. Боязнь формъ есть ни что иное, какъ боязнь самодовѣріи любой цѣнности, забывшей о всеединствѣ, оторвавшейся отъ своихъ религіозныхъ корней. Въ искусствѣ, да и не только въ искусствѣ, она оборачивается прежде всего боязнью красоты, — любой красоты, которая не есть одновременно правда и добро и которая имѣетъ постоянно грозить оказаться риторикой, декораціей, пустымъ блескомъ, суетой и мишурой. «Не говори красиво» — не только девизъ немногого оперного тургеневскаго интилиста, но уже и заявъ Пушкина, чье отвращеніе къ фразѣ, къ

наицшему иносказанию, къ многословной украшенности рѣчи отюдь не вкушено одной лишь эстетической разборчивостью. Не надо быть русскимъ, чтобы цѣнить сдержанность, трезвость, четкость въ жизни и въ искусствахъ; такія требования нерѣдко предъявлялись къ человѣку и къ художнику у всѣхъ народовъ и выполнение ихъ повсюду приводило къ простотѣ, отбрасыванью лишняго, къ честной прямотѣ приевовъ и манеръ. Однако Пушкинъ хочетъ простоты, прежде всего потому, что ищетъ правды, и никто не станетъ смѣшивать реальность классицизма или джентльменства съ русскимъ презрѣніемъ ко всему, что можно назвать духовной нарядностью, стъ русской тягой къ святой и убогой наготѣ. Тутъ нѣтъ ничего общаго съ трезвостью, сдержанностью и четкостью, тутъ не призываютъ къ умѣренности и добрымъ нравамъ, а совсѣмъ иная жажда, идущая изъ совсѣмъ иной душевной глубины. Древне-русское искусство иконописцевъ, архитекторовъ, проповѣдниковъ не боялось формы и не стыдилось красоты, потому что красота была для него лицъ сияніемъ Божией славы, которое даже и не мыслилось отдельно отъ ея источника. Зато величайший русский художникъ нового времени, Александръ Ивановъ, вопреки сознательному своему неѣрію, именно стыдится своего дара и лучшихъ своихъ удачъ, и мечтааетъ лишь о той картинѣ, где должны воплотиться истина (археологическая) и добро (сведенное къ разсудочной морали). Отсюда же проистекаетъ толстовское отношеніе къ искусству, и его же, какъ и многихъ русскихъ людей, отношеніе къ истинѣ. Слишкомъ

многіе у насъ стыдились обоихъ, поскольку не видѣли ихъ непосредственной связи съ практической нравственностью. Русское неуваженіе къ наукѣ, какъ таковой столь же мало похоже на западный утилитаризмъ, какъ русская боязнь искусства на западное пуританство; у насъ подмѣшивали добро къ истинѣ и красотѣ лишь потому, что, сами того не зная, жаждали ихъ растворенія, ихъ единства въ зонѣ всеобъемлющемъ сиянія.

Той же тоской по немъ, тѣмъ же ущербомъ его осознанности, при еще непогашенномъ христіанскомъ пламени внутри, объясняется вѣроятно торжество въ русской культурѣ новаго времени того религиознаго мотива, что на богословскомъ языке называется кенотическими<sup>\*)</sup>. Это мотивъ иконно-христіанскій, могущественно представленный въ древней Руси, хорошо известный Западу (наряду съ Достоевскимъ, его величайший выразитель въ искусствахъ — Рембрандт), но который никогда съ такой исключительностью не проникалъ цѣлую культуру, какъ это случилось въ Россіи въ девятнадцатомъ столѣтіи. Державинъ былъ кажется послѣднимъ русскимъ, видѣвшимъ Бога на престолѣ, во славѣ; послѣ него никто не видѣлъ Его вверху, а вѣвнизу. Прозрѣнія Достоевскаго о Богородице — матери сырой землѣ такъ же относятся сюда, какъ его же Мармеладовъ, Мышкинъ, «дите», какъ все его творчество, какъ всякая русская литература не отъ «Шанель», а отъ «Станционнаго смотрителя», какъ

<sup>\*)</sup> Отъ греческаго слова *κενοτάξιον* — уничиженіе, само-истощеніе (Христа).

все русское «скающееся дворянство» и народничество, какъ музикантъ Христосъ Толстого и красноармейскій Христосъ Блока. И не только въ непосредственно-религиозныхъ видѣніяхъ, въ непосредственно-религиозномъ опыте сканьуется эта основная склонность русской души, но и въ той зачарованности всѣмъ смиренными, уничтоженными, падшимъ, что «сквозить и тайно спѣтить» повсюду, въ самомъ глубокомъ, что было у насъ создано. Быть можетъ въ 1830 году, въ Болдинѣ, начинается канонизация русского искусства, который, несмотря ни на что, не кончился и сейчасъ. Когда читаешь:

Два только деревца. И то изъ  
нихъ одно  
Дождливой осенью совсѣмъ об-  
нажено  
И листья на другомъ, размок-  
нувшись и желтѣя,  
Чтобы лужу засорить, ждутъ  
перваго Борея.  
И только. На дворѣ живой со-  
баки нѣтъ.  
Вотъ, правда, мужичокъ, за  
нимъ дѣлѣ бабы всѣльдъ.  
Безъ шапки онъ; несетъ подъ  
мышкой гробъ ребенка  
И кличетъ издали лѣниваго по-  
пенка,  
Чтобъ тотъ отца позвалъ, да  
церкви отворилъ,  
Скорѣй! ждать некогда! давно  
бы ужъ склонилъ.

Сомнѣваться нельзя: это и есть та поэзія въ рабскомъ видѣ, та свя-  
тая убогость, та смиренная крас-  
сота, для которой Тютчевъ на-  
шель кратчайшую поэтическую  
формулу и которую давно успѣлъ  
замѣтить и понять даже и «гор-  
дый взоръ иноплеменныи». Еще  
до войны, Жакъ Ривьеръ, про-

слушавъ «Бориса Годунова», исп-  
салъ *«la mélodie de Moussorgski,*  
*c'est le récit de l'humilité»* и раз-  
вивавъ свою интуицію въ замѣ-  
чательной статьѣ, лучшей, быть  
можетъ, изъ всего, что написано  
объ этой музыке. Съ тѣхъ поръ  
многие на Западѣ сумѣли понять,  
что значить у Достоевскаго это  
заглавіе *«Krotkaiia»*, и тайное съ-  
ченіе открылось многимъ. Конечно  
нельзя объяснять кротость, от-  
сутствіе фарисеевства и даже сми-  
лость къ падшимъ неотъемлемы-  
ми чертами русскаго характера,  
хотя и вѣрою сказалъ Розановъ:  
«Ницше почтили потому, что онъ  
былъ нѣмецъ, и притомъ страда-  
ющій (болѣзнь). Но если бы рус-  
скій и отъ себя заговорилъ въ ду-  
хѣ: «падающаго еще толпами», —  
его бы назвали мерзавцемъ и во-  
все не стали бы читать». Нельзя  
въ смиреніи, въ уничиженіи ви-  
дѣть (какъ хотѣлъ этого Досто-  
евскій въ пушкинской рѣчи) осу-  
ществленную добродѣтель, побѣ-  
ду принципа «смирись, гордый че-  
ловѣкъ»; однако именно на этихъ  
свойствахъ основанъ русскій иде-  
альческий человѣкъ, русское представ-  
леніе о добрѣ и святости; на этихъ  
дрожжахъ взошла вся новая рус-  
ская культура.

Культура всегда — зданіе, по-  
строенное на вулканѣ и достраи-  
ваемое неустанно изъ охладѣвшей  
лавы послѣдняго изверженія. Зда-  
ніе колеблемо подземными толч-  
ками и грозить обрушиться на сво-  
ихъ строителей, но оно стоитъ,  
пока не потухъ вулканъ, и лишь  
безъ его огня оно погибнетъ. Мы  
знаемъ со времени *«Рожденія тра-  
гедіи»*, на какой зыбкой основѣ  
высится греческій Акрополь и гречес-  
кій Олимпъ. Буддійская куль-  
тура построена на культѣ священ-  
наго уничтоженія, мусульманская

на противовторческомъ понятіи рока, христіанско - европейская из сверхкультурныхъ цѣнностяхъ, съ точки зрѣнія которыхъ сама культура серединина: ни горяча, ни холода. Зданіе русской культуры въ части христіанской было построено изъ неостывшей лавы и должно было рухнуть отъ первого землятрясенія. Зато пламя въ ней лыпало и такой жаръ исходилъ изъ ея яѣдъ, что онъ могъ согрѣть и оживить весь христіанскій міръ, заново разжечь его потухшую сердцевину. Въ ми-  
нувшемъ вѣкѣ вулканическое начало нашей культуры всего полнѣй было олицетворено Достоевскимъ, а духъ зодчества, осуществленія, формы Пушкинскому; однако и Пушкинъ въ ту болдинскую осень заглянулъ на самое дно русской души, въ Достоевский,

черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ того, пророча о Пушкинѣ, могъ опираться на зданіе русской культуры, хоть и говорилъ отъ имени скрытаго, подземного или небеснаго огня. Для настъ теперь, да и не только для настъ, все это слилось въ одно. Не многаго стояло бы зданіе, если бы не было въ немъ огненной глубины, и хоть рухнуло оно именно потому, что не могло вынести внутреннаго жара, все-таки все, что миру дала Россія, изъ этого сердца родилось и на себѣ несетъ его жгучую печать. А если подъ камнями и щебнемъ тлѣтъ былой огонь, если когда-нибудь разгорится онъ човѣмъ пожаромъ, тогда возстанетъ и Россія и снова понесетъ миру оборвавшуюся на полусловѣ блажную вѣсть.

В. Вейдле.

### По поводу „Дневниковъ“ Б. Поплавского

Трагически погибшій нѣсколько лѣтъ тому назадъ Б. Поплавскій, человѣкъ очень одаренный, оставилъ послѣ себя дневники, выборки изъ которыхъ сейчасъ изданы. Это книга очень значительная и надъ ней стоить задуматься. Печальная, мучительная книга. Документъ современной души, русской молодой души въ эмиграціи. Я не сомнѣваюсь въ надрывной искренности Б. Поплавскаго. Но «дневникъ» поражаетъ отсутствіемъ простоты и прямоты. Нѣть ни одного прямого, не изломанного движенія. Все время играется роль. Поплавскій эпигонъ русскихъ течений начала XX-го вѣка, чelодвоящихъ мыслей, какъ и люди того времени, но поставленный въ исключительно трагическое полож-

женіе, выброшенный въ страшный и чуждый міръ. Онъ невѣрно опредѣляетъ свое отличие отъ старого «академизма». «Мы радостные, умираемъ, радуясь, благословляя, улыбаясь». Слова эти противорѣчатъ всему дневнику. Б. Поплавскій прибавляетъ: «въ гибели видя высшую удачу, высшее спасеніе». Это главный мотивъ дневника. Соблазнь гибели. Притяженіе и соблазнъ смерти. Сгорѣть и исчезнуть. «Нашъ лозунгъ — погибніе». Но это и есть упадничество. Притяженіе музыки и защищата отъ музыки. Музыка одна изъ основныхъ темъ дневника. «Только все умирающее поетъ въ душѣ». «Притяженіе музыки есть притяженіе смерти». «Не жажду ли я отдыха небытія?» Ничто не ра-